

# ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

---

С. Б. КРИХ

## УНИФИКАЦИЯ НАРРАТИВА В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА<sup>1</sup>

---

В статье обсуждаются основные проблемы использования наработок нарративного анализа для изучения истории советской исторической науки. В первой части статьи автор даёт обзор ведущих тенденций в современной отечественной истории науки последних лет, отмечая возрастающее внимание в ней к истории учёных (антропологический поворот) и сравнительную слабость интереса к истории текстов (нарративный поворот). Вторая часть статьи посвящена возможностям применения наблюдений исследователей исторического нарратива к истории советской историографии. В третьей части статьи автор обозначает основные проблемы в исследовании советского исторического нарратива, предлагая разделить их на вопросы технического формирования текста и на вопросы его содержания.

*Ключевые слова:* нарративный поворот, советская историография, история науки

---

### 1. Ускользящая унификация

Обращаясь к изучению советской исторической науки, исследователь довольно скоро осознаёт несложный парадокс: в целом очевидное упорядочение её языка на протяжении всего периода ее существования почти постоянно оборачивается исключениями, как только мы обращаемся к частностям. Если не учитывать тех моментов, когда советские историки, собираясь (под воздействием внешних обстоятельств) выразить не научную мысль, а политическую лояльность, переходили к языку плаката, то они писали по-разному, как с точки зрения стиля, так и с точки зрения расположения материала. Наконец, талантливые авторы всегда писали интереснее, чем посредственные – что случается во все эпохи. Тем самым, вроде бы не нуждающееся в доказательствах единообразие начинает таять при обращении к конкретному материалу, ускользя от исследовательской оптики и превращаясь в некое абстрактное представление о «других» авторах (вариант: «большинство авторов»), более зашоренных или более конъюнктурных, чем тот, что попал в поле зрения историка науки. Подобная метаморфоза происходит и при обращении практически к любому из этих «других». Унифицированный нарратив в советском историописании оказывается идеальным врагом, образ которого удобен для оживления современных историографических работ: существуя везде и нигде, обладая максимально общими и подвижными

---

<sup>1</sup> Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-09-00125А) «Унификация нарратива в советской историографии всеобщей истории: трансформация взглядов и научное творчество».

характеристиками, очевидный всем и никем не пойманный, он всегда может быть использован как фон, на котором избранный исследователем науки герой выглядит более рельефно, человечно, оригинально. Такое положение вещей говорит о том, что наши исследовательские механизмы как минимум не идеальны, если мы сталкиваемся с ситуацией, при которой очевидность становится синонимом неисследованности. Как чаще всего бывает в гуманитаристике, причина не в том, что на эти вопросы не хватило сил или времени, а в том, что при их решении не работают распространённые методики. Полагаю, вначале нужно предложить объяснение (пусть и небесспорное) того, почему так произошло.

Советская историческая наука начала собственное изучение с юбилейных отчётов о достигнутых вершинах: ранняя советская культура действительно нуждалась в осознании таких достижений (а поздняя уже не могла отказаться от установившегося ритуала). Это заложило советскую традицию историографического обзора: при отдельных критических замечаниях, речь должна была идти о количественной и качественной эволюции марксистской науки, в рамках которой достижения отдельных историков были лишь иллюстрацией общего неизбежного движения к уже известной истине, а отступления от этого пути – частными заблуждениями<sup>2</sup>. Советский взгляд на собственную историческую науку предполагал первичную роль объективной силы преобразующей идеи (марксизма-ленинизма) и подчинённую роль исследователя (историка-марксиста)<sup>3</sup>. Субъективное начало в советской истории науки не отрицалось, но в общем было ослаблено, и отсылки к нему чаще использовались для обоснования ошибок учёного, в то время как его успехи объяснялись просто адекватным постижением марксистско-ленинского учения. Общая специфика советской культуры с однозначно позитивным «Мы» против имманентно негативного «Я» подталкивала к соблюдению этих правил игры как со стороны «проигравших» учёных (которым следовало покаяться в слишком оригинальном, т.е. неправильном понимании теории), так и со стороны «победителей» – безопаснее и спокойнее было приписать успех не себе, а объективной (истинной) идее.

---

<sup>2</sup> Классический образец – IV и V тома «Очерков истории исторической науки в СССР»: Очерки... 1966; Очерки, 1985. Симптоматично при этом, что история создания самого многотомника вошла в противоречие с изображённой в нём историей науки. См. об этом: Иллерицкая 1996. С. 181–182; Яркова 2009.

<sup>3</sup> Известное восприятие науки как службы на «историческом фронте» было в сущности милитаризированной формой марксистского отношения к науке как форме трудовой деятельности, что получило наименование «тезиса Гессена – Гроссмана» (Freudenthal, McLaughlin 2009. P. 1). Здесь сейчас нет необходимости обсуждать вопрос о том, была ли мысль Б.М. Гессена понята адекватно (Гессен 1933) или же представления о его подходе как о примитивизирующем являются преувеличенными (Столярова 2017). Версия, что свой доклад Гессен старался сделать именно в идеологически выверенном духе, кажется наиболее подходящей: Бажанов 2007. С. 155.

После окончания советского периода система координат должна была неизбежно смениться. Историк вышел из тени теории, и оказался той самой очевидностью, которой до этого специально не интересовались. Если в советское время было достаточно определить классовую принадлежность учёного, а особенности его личности выносились за скобки, становясь предметом ностальгии, но не анализа, то постсоветский период поднял те вопросы, которые благодаря этому и оказались лучше всего разработаны за последние четверть века: «историк и власть» и «мир историка». Постепенно, но решительно в штудиях по истории исторической науки их герои перестали изображаться по преимуществу как представители течений, направлений и школ, более того, сами школы и направления начали рассматриваться не только как идейные круги, но как прежде всего коммуникативные площадки; формы и типы научной коммуникации теперь считаются одними из центральных факторов, организующих научную жизнь. Историография стала в значительной мере наукой об историках, и эта смена подходов получила название «антропологического поворота».

Таким образом, антропологизация истории науки в России вызвана не только и даже не столько общемировыми тенденциями, сколько внутренней логикой развития. Хорошей иллюстрацией этого тезиса является разность того, как происходили в отечественном интеллектуальном пространстве «антропологический поворот» и «поворот к нарративу»<sup>4</sup>. Если первый стал не просто декларацией, а рабочей парадигмой истории исторической науки, реализовавшись в многочисленных вариантах конкретных исследовательских стратегий, то второй был более или менее надёжно апроприирован только философией науки. Не говоря о том, что отечественные работы в этой сфере чаще всего представляют выборочный пересказ (иногда перетекающий в систематический анализ) важнейших работ Ф. Анкерсмита, факультативно дополняемый отсылками к другим значимым авторам (от П. Рикёра до Ж. Женетта), они фактически никак не связаны с использованием концепта исторического нарратива при предметной работе с историографическим материалом<sup>5</sup>.

Между тем, успехи антропологической парадигмы более остро обрисовали те вопросы, которые нуждаются в решении в использовании

---

<sup>4</sup> Kreiswirth, 2005. Иногда речь ведётся о трёх поворотах: в литературоведении, историографии и социальных науках, впрочем, они всё равно сосредоточены в промежутке 1960–1980-х гг. См.: Нувяринен 2008. Р. 449. В контексте этого исследования также не имеет значения вопрос о постклассической нарратологии: Postclassical Narratology 2010. Р. 1 ff.

<sup>5</sup> Исключения, конечно, есть. Ранний пример применения нарративистской методики при анализе советской историографии абсолютизма: Кондратьев, Кондратьева 2003. Интересный опыт анализа основ советского исторического нарратива, к которому мы обратимся ниже: Шатин 2002.

методов нарратологии. Если мы признаем, что между индивидуальным творчеством историка (а шире, всей его научной карьерой) и идеологическими импульсами политической подсистемы редко реализуется прямая связь и гораздо чаще действует опосредованная, то в таком случае именно анализ советского исторического нарратива как точки пересечения этих векторов позволит восстановить механизм означенного опосредования. Ниже я постараюсь показать потенциальные возможности применения нарративных исследований в отношении именно советской историографической традиции, а также выделить проблемы изучения ключевых особенностей советского исторического нарратива.

## **2. Теория исторического нарратива и практика советской историографии**

Здесь нет необходимости давать общий очерк теории исторического нарратива, какой она сформировалась за последние полвека. Её основные аспекты достаточно раскрыты ведущими философами науки<sup>6</sup>, а отдельные интересные моменты рассмотрены в ряде частных исследований<sup>7</sup>. Гораздо важнее сосредоточиться на том, какие из наблюдений философов науки могут оказаться полезными для её историков не с точки зрения общей теории, а с позиций непосредственно научной работы.

Стоит, однако, кратко обозначить те положения общей теории нарратива, которые необходимо разделять или хотя бы принимать как вероятную основу для дальнейшего процесса исследования, и которые играют для данной работы роль аксиом. Это, прежде всего, различие дискурса и нарратива – естественно, при понимании первого как намного более широкого явления, чем второй; представление о структуре нарратива как об отдельном факторе, который не сводим ни к особенностям языка, ни к особенностям мышления конкретного автора, но при этом находится под их влиянием и сам воздействует на них; тезис, согласно которому исторический нарратив является пусть и своеобразным, но типом научного высказывания, а потому обладает характеристиками только отчасти роднящими его с литературным нарративом<sup>8</sup>.

Последний тезис имеет интересный поворот в изложении П. Рикёра, который достаточно подробно обосновывал опосредованную связь между историографией и повествовательной компетенцией, причём как в том смысле, что «история не может порвать всякую связь с рассказом, не утратив своего исторического характера»<sup>9</sup>, так и в том, что история при этом стремится к объективности и не просто объясняет в процессе рассказа, но проблематизирует само объяснение, по крайней мере, для

---

<sup>6</sup> Анкерсмит 2003а; 2003б; Рикёр, 1998; следует также указать на работы филологов: Женетт 1998; Шмид 2003.

<sup>7</sup> Например: Сыров 2009; Горман 2010; Лехциер 2013; Силантьев 2013.

<sup>8</sup> Помимо указанных выше работ, см. Genette 1990. P. 766.

<sup>9</sup> Рикёр 1998. С. 206.

той аудитории, которая обладает достаточной компетентностью, чтобы оценить это устремление историка<sup>10</sup>. Фактически Рикёр говорит о взаимосвязи и – можно предположить – о взаимозависимости между объяснительной (проблематизирующей) и повествовательной компетенциями историка. Логично заключить, что в конкретной историографической традиции существенные проблемы в реализации одной из функций должны будут компенсироваться усилением действия другой, и эта мысль имеет непосредственный выход к опыту изучения советской науки. Так, с её помощью можно объяснить внутреннюю неизбежность «поворота к фактам» при утверждении сталинского видения исторической теории.

Осуждение «социологизаторства», которое было открыто инициировано политиками<sup>11</sup> и стало одним из важнейших пунктов высказываний об истории (и её преподавании) начиная с середины 1930-х гг., соблазнительно трактовать – вслед за современниками – как некоторое послабление со стороны властей. Как это свойственно языку той эпохи, он выражает позитивную повестку через негативную формулировку (не столько *за* конкретику, сколько *против* схематизма<sup>12</sup>), которая обладает большим мобилизующим эффектом<sup>13</sup>. Тем более, что заявка на обращение к фактам не была пустым лозунгом, и можно действительно увидеть, как в советской научной и образовательной исторической литературе 1930-х гг. возрастает объём рассказов о прошлом вместо изложения схемы, открывающей суть прошлого. Однако возрастание удельного веса повествовательной составляющей может означать нечто совсем иное: не отказ от «социологизаторства», а победу максимально примитивного (из возможных) варианта марксистской социологии. И на мой взгляд, это объяснение намного лучше согласуется с ходом развития советской исторической науки (хотя совсем не согласуется с эволюционной его схемой, сформированной самой советской традицией): проект «сильной» социологической марксистской теории, которая бы удовлетворительно объясняла наличествующие исторические факты (т.е., следуя уточнению Рикёра, не просто объясняла их, а компетентно проблематизировала), потерпел поражение, и ему на смену пришёл сталинский про-

<sup>10</sup> Рикёр 1998. С. 203–204.

<sup>11</sup> О преподавании гражданской истории в школах СССР 1934.

<sup>12</sup> Главным виноватым в итоге оказался уже покойный М.Н. Покровский, а критика его обрела символические черты демонстрации лояльности новому курсу партии.

<sup>13</sup> На уровне личного восприятия, однако, это могло вызывать даже протест. Академик И.А. Орбели отметил в 1939 г. во время одного из заседаний: «Я считаю, что нам надо отказаться от системы издания сборников, озаглавленных против чего-либо потому, что доводы «за» могут быть исчерпывающими, а доводы «против» должны быть исчерпывающими. Если мы выпускаем сборники против фашистской науки, доводы должны быть исчерпывающими. Лучше как-нибудь иначе назвать это, а то получается впечатление, что Академия Наук СССР всё что могла сказать против, она сказала...». Стенограмма... 1939. Л. 23–24.

ект минималистической социологии истории, при которой элементарный характер объяснений компенсировался, а скорее даже камуфлировался увеличением фактического материала – последний, конечно, не просто пересказывался (хотя можно найти и такие примеры), но объяснялся без проблематизации.

Здесь следует сделать одно пояснение: проблематизация не является характеристикой с неизменными составляющими и будет своей для каждой конкретной исследовательской парадигмы. То есть, если советский историк в духе позитивистского подхода обсуждает вопросы атрибуции источника, это не *проблематизированное* объяснение для марксистской парадигмы (в отличие от позитивизма) – по сути, это лишь техническое дополнение к изложению фактов. Это, кстати, объясняет и то, как в советской традиции могли относительно комфортно существовать элементы позитивистского историописания.

Когда в послесталинское время вошли в активную деятельность поколения, которые не знали сути компромисса 1930-х гг., они заново прошли тот же цикл: от попыток обновить объяснительный потенциал советской исторической науки, создав («возродив») «сильную» социологию истории в 1960-е гг. (на деле, процесс начался раньше) до перехода к «сильной» фактологии при минимизации содержательных споров в последующие десятилетия. Если дальнейшие исследования подтвердят наличие двух подобных циклов, это может свидетельствовать о нахождении некой базовой характеристики советской историографии.

Тезис Рикёра перекликается с наблюдением Анкерсмита, который обращал внимание на то, что нарратив должен обладать качествами рискованного высказывания, чтобы получить привлекательность в глазах читателей. «Повествование, легко распадающееся на свои буквальные составляющие, устроит нас в меньшей степени, чем повествование, успешно преодолевающее буквальность. И мера этого успеха определяется тем, насколько удалось достичь такого понимания прошлого, которое нельзя свести к тому, что буквально говорится о прошлом в этом повествовании»<sup>14</sup>. Когда историк в своём произведении выходит за пределы буквального (очевидного) знания, он выходит в пространство риска, поскольку потенциальное несогласие читателей с неочевидными (проблематизированными) объяснениями резко возрастает; но именно этот шаг привлекает внимание к самому произведению.

Применительно к истории советской науки это замечание может быть развёрнуто в следующем наблюдении: советская историография периода своего становления обладала, может быть, на сторонний взгляд довольно своеобразной, но сильной притягательностью, имевшей корни в том вызове, который бросали историки-материалисты своим коллегам

<sup>14</sup> Анкерсмит 2003б. С. 11.

в «буржуазных» странах (включая дореволюционную Россию). Это было принципиально иное прочтение истории, причём редко с точки зрения обнаружения новых данных, зато всегда с позиций иного толкования уже известных. К тому же, этот подход не скрывал своей субъективности, называя её классовым сознанием, тем самым отрицая возможность объективного исторического знания для всех и каждого и признавая объективным лишь то, что соответствует интересам пролетариата.

Такого рода радикально рискованные нарративы обязательно привлекают внимание (интеллектуалов и не только), но логика работы социальных институтов вынуждает авторов платить за это высокую цену (цензура, шквал критики, увольнение с работы – это ещё сравнительно мягкие последствия), что ограничивает количество готовых нести эти риски. Но так как в русской революции победила идеология, основанная на рискованных трактовках, это привело к тому, что одновременно возросла её привлекательность и снизилась социальная плата за следование ей. Даже приток новых сил (переход «старых» учёных на «марксистские рельсы») в первые десятилетия советской власти не произвёл эффекта нормализации, поскольку происходил постепенно и поскольку первоначально сохранялась высокая степень конкуренции уже внутри советско-марксистского нарратива. И только унификация самого этого нарратива катастрофически понизила рискованность высказываний. Причём, если в сфере проблематизации нарратива советская наука, согласно выдвинутому выше предположению, прошла два цикла, то тенденция к снижению рискованности высказывания была, при незначительных колебаниях, постоянной – это можно проиллюстрировать тем, что после 1930-х не то что принципиального, но даже сколько-нибудь глубокого пересмотра базовой терминологии так и не произошло. А это означает, что творческий потенциал второго цикла был заведомо ниже первого.

Все высказанные здесь идеи пока не имеют достаточного обоснования как с точки зрения охвата фактов, так и с позиций целостного взгляда на предмет, но вполне рельефно обрисовывают возможности для понимания советской исторической традиции при использовании наработок нарратологии. Теперь следует сказать и об основном круге проблем, который открывается перед нами в этом случае.

### **3. Советский исторический нарратив: перспективы и проблемы**

Попытка характеристики базовых особенностей советского исторического нарратива была предпринята Ю.В. Шатиным. Исследователь исходит из уже заявленного выше тезиса, согласно которому «историографическое письмо может быть понято как дискурсивная практика, имеющая собственную имманентную логику развития»<sup>15</sup>. Он выделяет в советском нарративе следующие характеристики: а) агрессивность

<sup>15</sup> Троицкий, Шатин 2002. С. 93.

(выражаемая прежде всего в противостоянии классическому историческому нарративу, получившему обозначение «буржуазной историографии»); б) повышенная аксиологичность («оценка событий превалирует над их связным изложением»<sup>16</sup>); в) редукционизм («отбор фактов осуществляется исключительно по мере их значимости для семиологической системы, благодаря чему удельный вес каждого факта возрастает, причём сам факт становится своего рода примером, образом; с другой стороны, факт ослабляет аргументацию, превращая текст в мифологическое образование»<sup>17</sup>). Конечно, критику этой гипотезы очень легко было бы основать на том факте, что подробного исследования самого советского исторического нарратива, т.е. хотя бы некоего относительно представительного корпуса советских исторических сочинений, до сих пор не было произведено, поэтому любые общие построения базируются скорее на общем впечатлении, чем на полноценном анализе. Но именно поэтому никакая развёрнутая, претендующая на переоценку сложившихся взглядов критика и невозможна. В настоящее время важнее обозначить те проблемы, решение которых позволило бы создать базу для нового уровня представлений о советском историческом нарративе. Предложу разделить эти проблемы на два типа: *технические* и *содержательные*, памятуя о том, что в действительности выяснение технических вопросов проясняет содержательные характеристики, и наоборот.

К *техническим* вопросам следует отнести исследование взаимосвязи между внешним вмешательством (редактурой, цензурой, самоцензурой) и авторской реакцией на него. В идеале, стоило бы получить обоснованное представление о том, чем отличается текст книги или статьи, доступной в виде публикации, от того текста, который первоначально подавался к печати, причём существенно важно, какие изменения вносили в него другие люди, кроме автора. До сих пор мы имеем об этом только разрозненные сведения<sup>18</sup>. Вопрос, между тем, не праздный: авторы часто говорят, что редактура «испортила» их книгу, но реальность и масштаб этих вмешательств остаются за пределами научной проверки.

---

<sup>16</sup> Шатин 2002. С. 102.

<sup>17</sup> Эти характеристики перекликаются с теми двумя, которые предложил я, не будучи знаком тогда с работой Шатина (апелляция к абсолютной истине и ортодоксальность): Крих 2014. В свою очередь, моя классификация была вдохновлена идеями А.В. Гордона (Гордон 2009. С. 72–119), хотя формальное расхождение с ним в терминах и было принято некоторыми читателями за принципиальное (Тихонов 2016. С. 22–23). Так или иначе, шатинские характеристики представляются более удобными в плане анализа структуры повествования.

<sup>18</sup> См.: Гордон 2018. С. 128–132; Копржива-Лурье 1987. С. 143–144. Подчеркну: недостаточно собрать упоминания из мемуаров о вмешательстве редакторов в содержание исторических работ, необходимо ещё и по возможности верифицировать эти данные, а также дополнить их пока неизвестными случаями. Самый общий взгляд на проблему цензуры: Markwick 2013.

Другой технический вопрос – какова была генетика текста на той стадии, на которой он создавался самим историком (или историками). Имели ли советские исторические тексты особую генетику, сходную даже у авторов с различными установками, или речь должна идти об исключительно индивидуальных методах работы, в которых общее начало проявлялось лишь на завершающих стадиях?

Например, при работе с архивами советских авторов можно наблюдать, как в ткань исторического рассказа инкорпорировались цитаты из «классиков марксизма-ленинизма» – часто для них оставлялось некоторое «пустое» пространство, а сама точная цитата вписывалась после создания авторской основы. Из этого наблюдения вовсе не следует делать простой вывод, что «цитатничество» было для серьёзных учёных исключительно связано с овнешвлением собственных исследовательских интенций и производилось с целью придать «изначально научному» произведению черты идеологически приемлемого материала; по крайней мере, неуклюжие попытки поступать подобным образом навлекали на историков критику уже начиная с 1920-х гг. Более того, очевидно, что ответ на этот вопрос может лежать только в сфере конкретизации: авторам было свойственно различное отношение к материалу, и поэтому важно разобраться, кто, когда и почему использовал «руководящие указания классиков» уже на стадии формулирования идей исследования, а кто инкорпорировал отсылки к легитимирующим высказываниям лишь на его завершающих этапах. Опять же, простой ответ, что в первом случае речь идёт об исключительно ортодоксальных в теоретическом плане исследователях, а во втором – о более оригинальных, вовсе не обязательно подтвердится при работе с конкретными примерами<sup>19</sup>.

Превостепенное значение для *содержательного* исследования советского исторического нарратива представляет вопрос о том, насколько корректна его характеристика через понятие унификации. Не является ли представление о советском нарративе как о в высокой степени унифицированном – мифом, преувеличением или неточным обобщением? Можно ли считать унификацию нарратива постоянным и постоянно значимым фактором, повлиявшим на творчество советских историков в заметно большей степени, чем в других научных или национальных традициях историописания<sup>20</sup>?

---

<sup>19</sup> Примеры: опирающийся почти исключительно на первоисточники И.М. Дьяконов, возражающий критикующему его взгляды с позиций «чистой» теории М.О. Косвену (Косвен 1963; Дьяконов 1964), а с другой стороны – К.К. Зельин, который, предлагая достаточно заметные коррективы для классовой теории при изучении рабовладения, показывает – конечно, с защитными целями – тончайшее владение базовой теоретической литературой (Зельин 1967).

<sup>20</sup> О том, что исключительность советского опыта не следует преувеличивать см.: Фетисов 2017.

В плане предварительной критики стоит выделить те особенности унифицированного нарратива, которые проявляются в любой научной традиции при упорядочивании высказываний и установлении единых стандартов повествовательных структур, и обнаруживая их в советской традиции, не следует основывать на этом вывод о её уникальности.

Позитивные моменты для работы историка, который унифицирует свои научные высказывания сообразно существующей (или формирующейся) традиции, можно кратко выразить в нескольких тезисах. Во-первых, унификация упрощает формулирование идей, экономия силы на необходимости обосновывать терминологию, методики работы, начальные идеи. Соответственно, этим она облегчает и ускоряет восприятие текста для научного сообщества, делая его более доступным. Во-вторых, она позволяет идентифицировать автора высказывания, сравнительно точно (хотя чаще всего и без деталей) определить его базовые установки, круг союзников и противников. Этот фактор сплачивает учёных, понимающих язык друг друга, но также позволяет выстраивать защитные барьеры от внешней и внутренней критики. Исследователь, не уверенный в том, как удачно структурировать свою книгу или статью, или в том, какие употребленные им слова и выражения, будут поняты адекватно (например, будет колебаться в том, имеет ли он право написать «историки понимают язык друг друга» или же эта фраза будет воспринята буквально и вызовет недоумение), будет находиться в состоянии творческого стресса и окажется вынужден для каждой работы фактически переизобретать выразительные средства. Унификация нарратива не только экономит силы и время, но и создаёт условия психологического комфорта, доходящие вплоть до того, что исследователь уже не думает, как он пишет, сосредоточиваясь лишь на том, что он хочет сообщить.

Соответственно, можно говорить и о негативных моментах унификации, которые неизбежно проявляют себя с большей силой при нарастании её элементов в научном нарративе. Прежде всего, унификация снижает индивидуальность высказываний, и потому научный труд начинает в меньшей мере соответствовать условиям рискованности, о которых говорилось выше. По той же причине может возрасть уязвимость для критических замечаний: недостатки, замеченные у одних авторов, могут автоматически переноситься на работы других (не всегда справедливо). Во-вторых, полноценная, многоуровневая унификация уже не облегчает, а затрудняет коммуникацию – адресату требуется прилагать специальные усилия по дешифровке общеразделяемых установок для того, чтобы разобраться, есть ли в высказывании данного конкретного автора собственно научная новизна. Наконец, широкая унификация может служить как минимум дополнительным фактором в кризисе мировоззрения: разочарование в типе высказываний может перерасти в разочарование в теории, которая этим типом высказываний легитимируется.

В динамическом плане унификация нарратива проходит те же стадии, которые можно видеть при любом описании истории восхождения и пересмотра научных доктрин<sup>21</sup>. Вначале, когда плюсы от унификации обладают наиболее притягательным эффектом, историки стремятся освоить элементы нарратива, позволяющие использовать её позитивные характеристики. На стадии же максимальной унификации предпочтение отдаётся переосмыслению унифицирующих элементов – открытию новых возможностей для распространённых структур повествования, новым комбинациям терминов и метафор. На поздней стадии, когда унифицированный нарратив начинает восприниматься уже как ограничение, на первый план выходят попытки превзойти существующие возможности высказываний: ещё не отвергнуть их полностью, но уже показать, что автор способен на большее – больший риск, большую проблематизацию.

Опять же, первоначальный ответ на вопрос о том, как эти общие характеристики были усилены или преобразованы в советской традиции, видится в конкретизации наших данных с точек зрения биографической и хронологической. В плане хронологического аспекта исследований уместно поставить вопрос о том, какие маркеры позволяют определить степень унифицированности нарратива в историографической традиции в целом (структура оглавления, общераспространённые цитаты и логические связки и т.д.) и по возможности отследить её колебания во времени. Кажущийся очевидным ответ, что наиболее активная унификация происходила в 1930-е гг., может подвергнуться серьёзной переоценке: многие работы тех лет носили «боевой» характер, будучи направлены «против» других подходов и теорий (повышенная агрессивность, по Ю.В. Шатину)<sup>22</sup>; близкий к публицистическому характер этих работ обусловил их восприятие в советской традиции как проходящих, хотя в итоге они остались в нарративе как элемент историографического введения к труду, в котором даётся критический обзор работ зарубежных историков, но для этого публицистический градус пришлось последовательно снижать. На мой взгляд, классическая структура советской научной монографии формируется на протяжении 1940-х гг., и это как раз признак нормализации нарратива: появляется набор тех повествовательных приёмов, которые можно повторять, не рискуя при этом получить обвинение в немарксистском характере работы.

Биографический аспект предполагает установление связи между индивидуальными способностями нарратора (историка) и унифицированными элементами нарратива. В первом приближении можно сказать, что здесь сразу складывается представление о двух основных направле-

---

<sup>21</sup> Кун 2001, С. 9–268.

<sup>22</sup> Против исторической концепции Покровского 1939; Против антимарксистской концепции Покровского 1940; Против фашистской фальсификации истории 1939.

ниях деятельности: движению к унификации и бегству от неё, что, в сущности, можно сформулировать и как проблему свободы индивидуального творчества внутри унифицированного нарратива. Тем не менее, если подойти к вопросу не столь прямолинейно, то можно увидеть, что попытка выделения двух простейших векторов – явление сугубо субъективное, неважно, порождённое ли оценкой современного историка науки или самоощущением конкретного советского историка. Оценочный характер суждения, правда, не означает отсутствия в нём познавательной ценности в принципе, но она будет гораздо выше, если удастся раскрыть, чем были инициированы такие оценки.

Более полезным подходом при анализе связки «нарратор – (унифицированный) нарратив» является тот, при котором мы помним о составной природе нарратива и – что не менее желательно – о сложной натуре нарратора<sup>23</sup>. Историки в силу индивидуального характера и жизненного опыта обладают разной склонностью к усвоению и воспроизведению тех или иных элементов доминирующего нарратива. Какие-то из них могут восприниматься совершенно естественно – например, послевоенное поколение воспринимало установившуюся терминологию как вполне нормальную (или даже единственно возможную) для социальных наук, – а другие, напротив, требуют дополнительных усилий к их полному или частичному освоению; в итоге отдельные стилистические обороты, те или иные термины или образы могут оказаться даже отвергнуты. Однако скептическое отношение к ряду элементов совершенно не следует автоматически принимать за стремление к пересмотру нарратива в целом. Логично предположить, что минимизация унифицированных элементов в индивидуальном труде будет означать ту самую большую степень творческой свободы, но количество не всегда идентично качеству – выше я приводил примеры, когда многочисленные цитаты служили защитой нового и рискованного высказывания. Следовательно, должны быть изучены разнообразные индивидуальные траектории взаимодействия с нарративом, для чего важно обращаться не только к формальным характеристикам использования/неиспользования тех или иных его элементов, но и реконструировать причины, по которым историк отводил этим элементам определённую роль в своих трудах.

Разработка указанных направлений, результатом которой должны стать уточнение или даже переоценка наших общих представлений об

---

<sup>23</sup> Следует уточнить, что раскрытие того и другого может быть достигнуто только при учёте фактора читательского восприятия. Так, если читатели того времени, когда появилось произведение, оказываются неспособны воспринять содержащихся в нём повествовательных новаций – смены позиции рассказчика (диегетический и недиегетический нарратор), изменения в характере метафор и аналогий, перестройки структуры, – то такая работа остаётся «вещью в себе»; иногда подобные произведения становятся актуальными через одно или два поколения.

историческом повествовании в советский период, представляется многообещающей перспективой дальнейших исследований. Конечно, представленный здесь набросок далёк как от всеобъемлющего описания этих перспектив, так и от теоретической безупречности в изложении, поэтому может вызвать справедливую критику. Уверен, что и она в итоге послужит прогрессу наших знаний о прошлом.

### БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

- Стенограмма заседания совета отделения общественных наук по вопросу «Против лженауки или фальсификации на этнографическом фронте» (13 февраля 1939) // АРАН. Ф. 394. Оп. 13. Д. 1. 103 л.
- Анкерсмит Ф. История и тропология: взлёт и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 496 с. [Ankersmit F. *Istorija i tropologija: vzljot i padenie metafory*. Moscow: Progress-Tradicija, 2003. 496 p.]
- Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М.: Идея-Пресс, 2003. 360 с. [Ankersmit F. *Narrativnaja logika. Semanticheskij analiz jazyka istorikov*. Moscow: Ideja-Press, 2003. 360 p.]
- Бажанов В.А. Социальный климат и история науки. Парадоксы марксистской теории и практики // Эпистемология и философия науки. Т. 1. № 1. С. 146–156. [Bazhanov V.A. *Social'nij klimat i istorija nauki. Paradoksy marksistskoj teorii i praktiki* // *Jepistemologija i filosofija nauki*. Vol. 1. № 1. P. 146–156]
- Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. М.; Л.: Государственное технико-теоретическое изд-во, 1933. 79 с. [Gessen B.M. *Social'no-jekonomicheskie korni mehaniki Njutona*. M.; L.: Gosudarstvennoe tehniko-teoreticheskoe izd-vo, 1933. 79 p.]
- Гордон А.В. Великая Французская революция в советской историографии. М.: Наука, 2009. 380 с. [Gordon A.V. *Velikaja Francuzskaja revoljucija v sovetskoj istoriografii*. Moscow: Nauka, 2009. 380 p.]
- Гордон А.В. Историки железного века. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 448 с. [Gordon A.V. *Istoriki zheleznoogo veka*. Moscow; Saint Petersburg: Centr gumanitarnykh iniciativ, 2018. 448 p.]
- Горман Дж. Грамматика историографии // Вопросы философии. 2010. № 3. С. 45–53 [Gorman Dzh. *Grammatika istoriografii* // *Voprosy filosofii*. 2010. № 3. P. 45–53].
- Дьяконов И.М. К проблеме общины на Древнем Востоке (реплика М. О. Косвену) // Вестник древней истории. 1964. № 4. С. 74–80 [D'jakonov I.M. *K probleme obshhiny na Drevnem Vostoke (replika M. O. Kosvenu)* // *Vestnik drevnej istorii*. 1964. № 4. P. 74–80].
- Женетт Ж. Фигуры. В 2 тт. М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. 469 с.; 469 с. [Zhenett Zh. *Figury*. V 2 tt. M.: Izdatel'stvo Sabashnikovykh, 1998. 469 s.; 469 s.]
- Зельин К.К. Принципы морфологической классификации форм зависимости // Вестник древней истории. 1967. № 2. С. 7–31 [Zel'in K.K. *Principy morfologicheskoy klassifikacii form zavisimosti* // *Vestnik drevnej istorii*. 1967. № 2. S. 7–31].
- Иллерицкая Н.В. Становление советской историографической традиции: наука, не обретшая лица // Советская историография / Под ред. Ю.Н. Афанасьева. М.: РГГУ, 1996. С. 162–190 [Illerickaja N.V. *Stanovlenie sovetskoj istoriograficheskoy tradicii: nauka, ne obretshaja lica* // *Sovetskaja istoriografija* / Ed. Ju.N. Afanas'ev. M.: RGGU, 1996. P. 162–190]
- Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе: 20-е – начало 50-х годов XX века. Тюмень: Мандра К, 2003. 272 с. [Kondrat'ev S.V., Kondrat'eva T.N. *Nauka «ubezhdat'», ili Spory sovetskikh istorikov o francuzskom absoljutizme i klassovoj bor'be: 20-e – nachalo 50-h godov XX veka*. Tjumen': Mandra K, 2003. 272 p.]
- Косвен М.О. К вопросу о древневосточной общине // Вестник древней истории. 1963. № 4. С. 30–34 [Kosven M.O. *K voprosu o drevnevostochnoj obshhine* // *Vestnik drevnej istorii*. 1963. № 4. P. 30–34].
- Копржива-Лурье Б.Я. История одной жизни. Paris: Atheneum, 1987. 270 с. [Koprzhiva-Lur'e B.Ja. *Istorija odnoj zhizni*. Paris: Atheneum, 1987. 270 p.]

- Крих С.Б. Язык советской историографии: основные характеристики // Учёные записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2014. Т. 156. Кн. 3. С. 214–222 [Krikh S.B. Jazyk sovetской istoriografii: osnovnye harakteristiki // Uchjonye zapiski Kazanskogo universiteta. Serija Gumanitarnye nauki. 2014. Vol. 156. Iss. 3. P. 214–222].
- Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2001. 605 с. [Kuhn T. Struktura nauchnyh revoljucij. Moscow: AST, 2001. 605 s.]
- Лехциер В. Нарративный поворот и актуальность нарративного разума // Международный журнал исследований культуры. 2013. № 1 (10). С. 5–8 [Lehcier V. Narrativnyj povorot i aktual'nost' narrativnogo razuma // Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kul'tury. 2013. № 1 (10). P. 5–8].
- О преподавании гражданской истории в школах СССР [O prepodavanii grazhdanskoj istorii v shkolah SSSR] // URL: [http://www.libussr.ru/doc\\_ussr/ussr\\_3989.htm](http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3989.htm)
- Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 4 / Под ред. М.В. Нечкиной, Г.Д. Алексеевой, М.А. Алпатова. М.: Наука, 1966. 854 с. [Ocherki istorii istoricheskoi nauki v SSSR. Vol. 4 / Eds. M.V. Nechkina, G.D. Alexeeva, M.A. Alpatov. Moscow: Nauka, 1966].
- Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5 / Под ред. М.В. Нечкиной, М.А. Алпатова, И.Б. Берхина. М.: Наука, 1985. 606 с. [Ocherki istorii istoricheskoi nauki v SSSR. Vol. 5 / Eds. M.V. Nechkina, M.A. Alpatov, I.B. Berhin. Moscow: Nauka, 1985. 606 p.]
- Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского. Сб. статей. Ч. 2 / Под ред. Б. Грекова, Ем. Ярославского, С. Бушуева. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1940. 500 с. [Protiv antimarksistskoj koncepcii M.N. Pokrovskogo. Sb. statej. Part 2 / Eds. B. Grekov, Em. Jaroslavskii, S. Bushuev. Moscow: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1940. 500 s.]
- Против исторической концепции М.Н. Покровского. Сборник статей. Часть 1 / Под ред. Б. Грекова, С. Бушуева, В. Лебедева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. 518 с. [Protiv istoricheskoi koncepcii M.N. Pokrovskogo. Sbornik statej. Part 1 / Eds. B. Grekov, S. Bushuev, V. Lebedev. Moscow; Leningrad: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1939. 518 p.]
- Против фашистской фальсификации истории. Сборник статей / Под ред. Ф. И. Нотовича. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1940. 450 с. [Protiv fashistskoj fal'sifikacii istorii. Sbornik statej / Eds. F. I. Notovich. Moscow: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1940. 450 p.]
- Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М.; СПб.: Университетская книга, 1998. 313 с. [Riccœur P. Vremja i rasskaz. T. 1. Intriga i istoricheskij rasskaz. Moscow; Saint Petersburg: Universitetskaja kniga, 1998. 313 p.]
- Силантьев И.В. Факт и мотив: об одном существенном отличии литературного нарратива от исторического // Критика и семиотика. 2013. № 1 (18). С. 138–144 [Silant'ev I.V. Fakt i motiv: ob odnom sushhestvennom otlichii literaturnogo narrativa ot istoricheskogo // Kritika i semiotika. 2013. № 1 (18). P. 138–144].
- Столярова О.Е. Идеи Б.М. Гессена и отечественная философия // Философский журнал. 2017. Т. 10. № 3. С. 112–132 [Stoljarova O.E. Idei B.M. Gessena i otechestvennaja filosofija // Filosofskij zhurnal. 2017. Vol. 10. № 3. P. 112–132].
- Сыров В.Н. К вопросу о нарративной природе социальной реальности и эпистемологическом статусе исторического нарратива // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2009. № 3(7). С. 39–52 [Syrov V.N. K voprosu o narrativnoj prirode social'noj real'nosti i jepistemologicheskom statuse istoricheskogo narrativa // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofija. Sociologija. Politologija. 2009. № 3(7). P. 39–52].
- Троицкий Ю., Шатин Ю. Историографическое письмо как дискурсивная практика // Критика и семиотика. 2002. Вып. 5. С. 92–99 [Troickij Ju., Shatin Ju. Istoriograficheskoe pis'mo kak diskursivnaja praktika // Kritika i semiotika. 2002. Iss. 5. P. 92–99].
- Тихонов В.В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука (середина 1940-х – 1953 г.). М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 424 с. [Tikhonov V.V. Ideologicheskie kampanii «pozdnego stalinizma» i sovet'skaja istoricheskaja nauka (seredina 1940-h – 1953 g.). Moscow; Saint Petersburg: Nestor-Istorija, 2016. 424 p.]
- Фетисов М. Нарратив и теория в исследованиях советского: значение исследований Н.Н. Козловой для современной политической теории // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16. № 1. С. 227–246 [Fetisov M. Narrativ i teorija v issledovanijah sovet'skogo:

- znachenie issledovanij N.N. Kozlovoj dlja sovremennoj politicheskoj teorii // Sociologicheskoe obozrenie. 2017. Vol. 16. № 1. S. 227–246].
- Шагин Ю. Исторический нарратив и мифология XX столетия // Критика и семиотика. 2002. Вып. 5. С. 100–108 [Shatin Ju. Istoricheskiy narrativ i mifologija XX stoletija // Kritika i semiotika. 2002. Iss. 5. P. 100–108].
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с. [Shmid V. Narratologija. M.: Jazyki slavjanskoj kul'tury, 2003. 312 p.]
- Яркова К.П. «Очерки истории исторической науки в СССР» в развитии советской историографии // Наука и школа. 2009. № 2. С. 67–68 [Jarkova K.P. «Ocherki istorii istoricheskoi nauki v SSSR» v razvitii sovetskoj istoriografii // Nauka i shkola. 2009. № 2. P. 67–68]
- Freudenthal G., McLaughlin P. Classical Marxist Historiography of Science: The Hessen-Grossman-Thesis // The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution. Dordrecht: Springer, 2009. P. 1–40.
- Genette G. Fictional Narrative, Factual Narrative // Poetics Today. Vol. 11. №. 4. 1990. P. 755–774.
- Hyvärinen M. Analyzing Narratives and Story-Telling // The Sage Handbook of Social Research Methods / Eds. P. Alasuutari, L. Bickman, J. Brannen. London, 2008. P. 447–460.
- Kreiswirth M. Narrative turn in the humanities // Routledge Encyclopedia of Narrative Theory / Eds. D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan. London; New York: Routledge, 2005. P. 377–382.
- Markwick R.D. Censorship and Fear: Historical Research in the Soviet Union // Groniek: Historisch Tijdschrift. Vol. 46. Iss. 201. 2013. P. 371–385.
- Postclassical Narratology: Approaches and Analyses / Eds. J. Alber, M. Fludernik. Columbus: The Ohio State University Press, 2010. 328 p.

**Крих Сергей Борисович**, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского; [krikh@rambler.ru](mailto:krikh@rambler.ru)

### Unification of narrative in Soviet historiography as a research problem

The author discusses the main problems of using methods of the narrative analysis to study the history of Soviet historical scholarship. In the first part he gives an overview of basic trends in Russian history of science in last decades noting the increased attention to the history of scholars (anthropological turn) and to the relative weakness of the history of texts (narrative turn). The second part of the article is devoted to the possibilities of applying the observations of researchers of historical narrative to the history of Soviet historiography. In the third part of the article, the author identifies the main problems in the study of the Soviet historical narrative, proposing to divide them into questions of the technical formation of the text and into questions of its content.

**Keywords:** narrative turn, Soviet historiography, history of science

**Sergey Krikh**, Dr. Sc. (History), Professor, Department of World History, Omsk State University named after Dostoevsky; [krikh@rambler.ru](mailto:krikh@rambler.ru)